



И. М. ИВАКИН

Воспоминания

<фрагменты>

<1885>

24 июня. Вчера я приехал в Ясную Поляну. Сегодня видел ее всю и всех ее обитателей.

За чаем толковал с Л. Н. и Татьяной Андреевной¹ о воскрешении Николая Федоровича. Это воскрешение Л. Н. сопоставил с теорией брата своего Сергея Н-ча², которая заключается в том, что мир состоит из частиц, изменяющих формы своего сочетания в бесконечности пространства и времени, и что, следовательно, возможна и такая комбинация, что раз уничтожившееся снова придет в прежнюю форму. Разница та, что у Николая Федоровича все предоставляется сознательной деятельности человечества, а у Сергея Николаевича — простому процессу.

<...>

5 июля. Видел купца-раскольника, приехавшего к Л. Н., который толковал ему об «Учении двенадцати апостолов»³.

Лев Николаевич косил часа два. Я наблюдал за ним из-за деревьев, когда он уже кончил: положил брусок в брусницу, вскинул по-мужицки на плечо косу и тихо, задумчиво направился домой. Я вышел, он меня увидал.

— А я только что думал о том, что скоро придется умирать, — сказал он. — Хороша смерть, когда жил не как мы, которые наедаемся Бог знает до чего, в то время, как другим нечего есть.

Он вспомнил о Н. Ф-че, как он живет. Он уважает, любит его больше всякого и удивляется, что тот от него отшатывается.

— Н. Ф-ч говорит, что между людьми братства потому нет, что нет общего дела; будь оно, было бы и братство; делом этим он считает воскрешение. Я же говорю, что братство может быть и без общего дела, пожалуй, просто вследствие того ужаса нашего положения, которое есть прямой результат отсутствия братства. Он этого не хочет понять. У него есть пункт помешательства, которо-

го у меня, должно быть, нет. Я ему говорил: поставьте вы общее дело целью, не определяя его точно... Но с философской точки зрения его построение правильно, он прав, ставя человечеству такую задачу, если только отодвигать ее исполнение в бесконечность времени.

<...>

<1886>

[После рассказа о посещении Л. Н. Толстого в Москве в конце ноября 1885 г.:]

Затем я Л. Н. не видал до начала января 1886 г. Попал я к Толстым случайно.

У них был В. Ф. Орлов и Ге — отец и сын⁴. Л. Н. познакомил меня сейчас же с обоими. Ге-отец был старый, лысый человек, с блестящими глазами, сухой и тонкий. В тот вечер он страдал флюсом — подбородок был укутан шарфом.

Когда мы уселись, Л. Н. спросил, давно ли я видел Николая Федоровича Федорова. Я сказал, что давно.

— А он нынче, как я слышал, у Пругавина⁵, собрались читать статью Льва Толстого «Наука и искусство»⁶, о которой я понятия не имею. Но мне все-таки интересно было бы знать его мнение, потому что оно мне дорого.

<...>

Толстых потом я не видал долго, зато о Л. Н-че приходилось и беседовать и слышать постоянно.

В конце февраля я был у Н. Ф-ча Федорова и прочел ему толстовскую сказку⁷. Н. Ф-ча она возмутила.

— Кто хочет того, что предлагает Толстой, тот не любит людей, — говорил он. — В Толстом и есть такая ненависть к людям... Нового сказка мне ничего не дала — тут только все его взгляды, все, о чем он писал и пишет. В сказке все — колоссальная ложь. Так нельзя говорить про умственный труд. Сам он никогда его не знал — писал он и пишет, только когда ему придет фантазия⁸. Это не труд — в труде есть доля принуждения. Разве ученые не устают, не живут на чердаках, не нуждаются? Разве наука уж так-таки и не сделала ничего? Он где-то в своих сочинениях говорит, что с доисторических времен не прибавилось ни одного хлебного растения⁹. Я справлялся, и оказалось — вздор: он даже не дал себе труда проверить, правда ли то, что он сказал. Если отнести написанное к его последним произведениям, тогда — я согласен — он прав, потому что небрежен он в них ужасно... Относительно воинской повинности, науки, из того, что он рекомендует в сказке и других произведениях, я знаю, что ничего не выйдет. И потом, все отрицая так, что делает он сам? Шьет сапоги. Я видел эти сапоги у

Фета¹⁰ — сшито изящно, так что я таких сапог не ношу. А на выставке сам же мне говорил: динамитцу бы сюда! — на выставке, где его сапоги могли бы получить премию за изящество работы! Я помню, он как-то пришел к нам в библиотеку и пожалел, что еще не случилось в ней пожара, а сам берет из нее книги!¹¹ Где же тут любовь? Кто не любит тех, кого он видит, а говорит, что любит тех, кого не видит, тот ненавидит всех. — Он знает отлично это место в писании Иоанна¹². Сам он принадлежит к известному классу и потому его ненавидит. Пишет и говорит он всегда без отношения к последствиям. Что из его слов выйдет, это не его дело. Прочитав сказку, что же остается делать каждому из нас? Покончить с собой — это будет, по крайней мере, честно. Так нельзя, я знаю, что так нельзя ничего сделать. Во всей сказке колоссальная ложь, и Толстой остался Толстым¹³.

Н. Ф-ч волновался, горячился, был возмущен так, как я никогда еще не видал.

Недели через две я был у него опять, и он мне опять заговорил про сказку.

— Нельзя так относиться к умственному труду. Разве при земледелии его нет? До земледельческого периода народы жили кочевой жизнью (по крайней мере, я иначе и представить себе не могу предшествовавшего земледелию периода), а разве для перехода к земледелию не надо было умственного труда? В одном из сочинений он с насмешкой говорит о спектральном анализе¹⁴. По-моему, это — величайшее торжество человеческого ума. Правда, непосредственной пользы от него мы не видим, но и за всем тем можно ли так легко о том говорить? Я уверен, что о спектральном анализе он не прочел ни одной книжки и не знает о нем почти ничего! Да и можно ли так легко судить и о воинской повинности? У него выходит так, как будто бы Тарас и Семен сделались — один купцом, другой солдатом по своей прихоти. А из истории мы знаем, что это не так: не по своей прихоти, а по необходимости основался город — надобно было защищаться, например, нам от кочевников. Вспомните Мономаха. Город давал народу убежище. В Евангелии, в начале, есть место — воины приходят к Иоанну Крестителю и спрашивают: что нам делать?¹⁵ Теперь при всеобщей воинской повинности мы все стали воинами и все должны спросить, как в Евангелии: что нам делать? С этой стороны воинская повинность хороша: она поведет к громадным результатам!

— Если принять ее — значит принять и все, что из этого вытекает, — сказал я, — я стал в ряды: убивать ли мне турка или дать турку возможность убить меня?¹⁶ Как тут быть?

— Это, действительно, вопрос, имеющий право на существование, — отвечал Н. Ф-ч, но не сказав ничего в ответ прямо, продолжал:

— Мы думаем, что война только на войне; нет, мы все ежеминутно ведем войну, да еще поядовитее той настоящей, которая есть только следствие этой нашей войны. Не будет этой войны, не будет и той. Нельзя так решать эти вопросы, а если и можно, то разве в сказке. Я помню то место, где дураки зовут своих врагов к себе жить. Признаюсь, оно поразило меня своей несообразностью — где ж теперь это может быть? Места и так-то уж становится мало, а они зовут к себе жить! У нас в городе, в Рязанской губернии, за десять лет заселили и запахали все луга, где, бывало, паслись стада гусей. В Китае — я вам говорил, кажется — дошло до того, что жить негде, людьми не дорожат — когда тонет судно, бросаются спасать не людей, а товар, а тут зовут к себе жить! Да вспомнил, что ведь это сказка — ну, и ничего, стало понятно все. И всякий, у кого есть разум, прочитав это произведение, скажет: да ведь это сказка! Нельзя так легко решать эти вопросы — они слишком серьезны!

В своей «*В чем моя вера*» он говорит — в защиту крепостного права, сказать по правде, — что негодную лошадь и ту кормят, а уж человека-то кормить будут¹⁷. А я скажу, что в Китае люди на коленях, с инструментами в руках, просят — да не милостыни, а работы, и ее нет!¹⁸ Я скажу, что на о. Кубе плантаторы, напр<имер>, рассчитывают, что выгодней — заморить ли работой людей, чтобы скорей убрать жатву, или потерять такую-то сумму. Да и лошадь, коли она станет негодна, так в Голландии, напр<имер>, ей открывают жилы и для удобрения земли ее кровью водят по полю до тех пор, пока она не издохнет. Это только и мог написать крепостник. А его правило *не противься злу* — я ему не раз говорил это — разве не защита крепостного права? Что ж тогда будет с освобождением крестьян? Нельзя так легко говорить обо всем этом. И в конце концов что же выходит из сказки? Она даже не докончена. Как будут жить в Ивановом царстве, что должно сделаться с Семеном? Ему остается, по-моему, одно — покончить с собой, что мы часто и видим!

Я сказал, что Толстой не разделяет пессимистических взглядов на будущее — Мальтуса он решительно отвергает¹⁹.

— Мальтуса можно отвергать только тогда, когда хочешь закрыть глаза на будущее, а оно так явно! Население всюду растет, и самые войны становятся регуляцией его излишка, потому что земля должна же иметь предел в своей производительности и пространстве.

— Это ужасно, — сказал я, — но неужели нет средства поправить дело?

— Средство есть, да долго говорить о нем; только оно не так просто, как думает Толстой... А эти картинки «*Девчонки умнее стариков*»²⁰ — что это такое? У нас уж и так стариков-то мало

уважают, а тут это непохвальное отношение еще поощряют картинками! У нас молодые люди какие? Просто все министры. Пришлют к нам в библиотеке записку — эксперта нужно разбирать! И название книги написано не так, и почерк неразборчивый... Наполеон, когда был капитаном, писал еще сносно, можно было разбирать, но когда стал императором, начал так писать, что только очень немногие, да и то с трудом, могли разбирать его руку. А эти и не Наполеоны, — а уж пишут, как Наполеон!..

— Препрежнее заглавие толстовской «Исповеди» было «Что такое я?»²¹, — продолжал Н. Ф-ч, — хорошо, что после он изменил. Озаглавить «Что такое мы?» — это я понимаю; но «Что такое я?» — по-моему, это уж не очень хорошо. Раз я просил у него для нашей библиотеки рукописи «Войны и мира». Графиня обещала²², но он сказал: «Что нам толковать об этом!» Признаюсь, это нам очень его характеризует: он хочет как будто выделить себя из всех других людей — так они кажутся ему ничтожны!

Недавно я читал книгу Ольденбурга о Будде²³. Мне так Будда стал понятен именно потому, что я знаю Толстого. Он думает, что он христианин, но в нем христианского ничего нет. Нет ничего противоположнее христианству, чем буддизм. Подумайте — один был плотник, вышел из народа, все испытал на себе; другой был царский сын — все ему наскучило, nirвану, пресыщение всем и пустоту он уже носил в самом себе. Отсюда разница в конце. Я понимаю — Христу было что сказать ученикам в прощальной беседе, но Будде что было сказать? Молитва в Гефсиманском саду у Христа, а у Будды этого нет. Философия мало утешает людей — мы знаем, а пример — Христос недаром сказал: «Я пребуду с вами до скончания века»²⁴ — действует. Я по своему опыту знаю, что всего более действуют на людей последние страницы Евангелия, а у Будды таких страниц нет. Он уже в себе носил nirвану; ему прискучило все, он только и ждал: скоро ли я уйду от вас. В Евангелии не то, и Толстой именно буддист. Раз Будда встретил женщину, которая была довольна всем — и ребенок у ней был здоров, и муж ее любил. Будда сказал: вот человек, которому следует подражать! В другой раз он опять встретил женщину, которая была недовольна тем, что ребенок ее нездоров. Будда ей сказал, что ребенок выздоровеет, если она возьмет рису из дома, где не было покойника. Но такого дома не нашлось. Значит, желание ее, чтобы ребенок был здоров, было побольше всяких других желаний — напр<и>мер> сделаться богатым, славным... Будда не заметил, что это была та же самая женщина, только в разных обстоятельствах. Значит, нельзя было ее и ставить примером²⁵. А Толстой именно это и делает, указывая на простых людей, хотя желания их часто далеко не исполнимы.

В статье, помещенной в «Русск<ом> богатстве»²⁶, он говорит, между прочим, что семья — благо, но я иногда думаю, что он дале-

ко не всегда признает семью благом... Далее он говорит, что счастье есть труд. Но какое счастье труд и для кого? Всякий знает, что это необходимость. Потом, по его мнению, благо — безболезненная смерть. Но безболезненная смерть — или бессмыслица, или случайность. Если кого убьет грозой, эта случайная смерть есть и безболезненная, а другой нет — мы в себе носим смерть: сначала она — представление, потом с годами — ощущение, как у меня. Значит, болезнь эта есть — что же тут говорить о безболезненности? Он сам мне раз сказал: мужик крякнет, и то пойдет ему в счет.

— Много хорошего в Зенд-Авесте, — сказал мне Н. Ф-ч., прощаясь, — но много и плохого. Хороша, напр<имер>, в ней молитва *не причти нас к праведным*, как у нас, а *сделай нас участниками в общем деле!* Но много в этой религии и трусливого — боязнь прикоснуться к трупу, откуда будто бы вылетают зловредные духи. Эти духи — наши микробы...²⁷ В последней книге Агуромазда точно теряет точку опоры, точно ищет опоры у Аримана Иеша — по моему, Иисуса²⁸. Где же еще искать?..

В мае я опять видел Н. Ф-ча, и мы опять разговорились о Толстом. Он и в этот раз сильно осуждал его последние произведения.

— Хорошо, что у него самого слово расходится с делом, но каково тем, которые верят в него и у которых слово и дело одно и то же? Если принять все его крайне протестантские мнения, то коли человек последователен, остается одно — покончить с собой, что какой-то из его последователей и сделал²⁹.

Я сказал, что другой угодил в Закаспийский край³⁰, — Толстой, узнав об этом, плакал.

— Как это он плакал? Ведь он человек нельзя сказать чтобы чувствительный. Он лицемер и лгун — я это в глаза скажу ему! Как же? Сам же обещал дать нам в библиотеку рукопись «*Анны Карениной*», а потом стал отпираться, говорить, что не обещал. Я было сам затеял это дело, привел его к человеку, который заведует у нас рукописями³¹; Толстой и ему сказал, что даст, говорила это при мне и графиня, а потом он стал говорить, что не обещал. Можно сказать, что хотя и обещал, но не даст — это я понимаю, но говорить, что не обещал, хотя сам же обещал — это значит лгать, и он лгун, я в глаза ему скажу! И меня-то после этого стали считать обманщиком — мало того, тот, кто заведует рукописным отделом, слышал его обещание, а теперь, услышав, что Толстой отрекается от своих слов, начал сам верить, что Толстой не обещал, а что врал я: помилуйте, как же не верить Толстому? Словом, этот человек до такой степени не самостоятелен, до такой степени дрянь, что даже не верит тому, что сам слышал, а верит словам Толстого!

Особенно возмущали Н. Ф-ча толстовские «*Церковь и государство*»³², а о сказках он говорил, что читая их, чувствуешь, что в них есть что-то как будто народное и в то же время народного нет

ничего... Толстовские мнения — крайний протестантизм; он под видом любви проповедует в сущности рознь — общего тут ничего нет. — «У нас и так-то уж все идут вразброд, а он еще подливает масла в огонь!»

Вероятно, разговор о рукописях Толстого и был причиною того, что я в тот же день вечером заходил к Толстым, видел графиню и говорил с ней про обещание Л. Н-ча отдать рукопись «*Анны Карениной*» в Румянцевский музей. Графиня сказала, что отдать всегда готова на сохранение — все равно едят же их мыши в сарае, — но с тем, чтобы не лишаться никаких на них прав. — «Я никогда, конечно, не сделаю такой подлости, чтобы продать, напр<имер>, рукопись “*Анны Карениной*”, положим, за 10 000, но прав на нее лишиться все-таки не хочу. Пускай они сохраняются в музее, лишь бы я имела право взять их по первому моему требованию. Не знаю, как здесь, а в Петербурге, раз отдавши в библиотеку рукопись, вы лишаетесь на нее всяких прав, а я этого не хочу! Очень может быть, что я и не потребую их никогда, это даже наверно, но право пускай будет за мной — взять их по первому моему требованию... Какая я прежде была дура! Двадцатилетней девчонкой я не понимала, что рукописи Л. Н-ча составляют драгоценность. Бывало, говорю мужу: “Левочка, теперь я переписала, а то можно бросить?” Он, бывало, деликатно мне скажет: “Нет, зачем же бросать — пусть лежат...” Их теперь набралось страшно много. Пускай берут на сохранение, но лишь на таких условиях — так им и скажите!»

Она кликнула лакея, велела принести полный экземпляр сочинений Л. Н-ча³³ и подарила мне: «Это вам — я рада, что исполняю свое обещание!»

— Я сколько ни читаю Толстого, — говорил мне вскоре после моего свидания с графиней Н. Ф-ч, — всегда думаю, что истина не то, что написано им, а как раз наоборот. Вот подите ж! Его учение о непротивлении злу есть нечто такое, с чем я никак не могу согласиться... А его последние произведения — в них тон как будто народный и в то же время есть что-то такое, что прямо ненародно³⁴. Например, «*Кающийся грешник*»³⁵ — что это такое? Скорей можно было бы озаглавить «*Сознающий свое достоинство праведник*». Право, все его последователи просто какие-то бараны, о которых он, как вы говорили, плакал, но слезы эти понятны...

По мнению его, у всякого свой особый смысл жизни, а общего смысла никакого нет. Отсюда вместо общения, любви он в конце концов проповедует рознь и думает, что он только нашел истину и владеет ею.

— Иван Ильич, — продолжал Н. Ф-ч, коснувшись повести Толстого, — умирает и, умирая, уверяется, что смерти нет³⁶, — по-

толстовски это вот что значит: если что есть неразрушимого в человеке, это — ничто, а ничто, разумеется, не может разрушиться — стало быть, смерти нет. Вот, по-моему, как надо понимать последние слова этой повести!

Видимо, хранителю рукописного отделения Лебедеву хотелось залучить рукописи Толстого в Музей. Мы с ним скоро увиделись у Н. Ф-ча. Первый мой вопрос был, какие условия принятия *всех* рукописей Толстого со стороны Музея. Лебедев ответил, что никаких или такие, каких пожелает сама графиня. Я ей на другой день сказал об этом. Она согласилась, сказала, что завтра, 11-го мая, она уезжает в деревню, а рукописи обещала привезти в августе.

Конечно, в Музее этому были рады. Лебедев обещал даже написать условия в двух видах — просто ли отдать на хранение, так чтобы Музей рукописей не касался, или же отдать с тем, чтобы, не касаясь прав на рукописи, привести их в порядок. Я обещал передать эти условия, когда буду в Ясной Поляне, куда пригласила меня графиня.

Н. Ф-ч потом передал мне и самые условия, или, вернее, два формальные, написанные Лебедевым прошения. Я просил, чтобы к графине написали что-нибудь и вроде письма, а то она может обидеться.

Н. Ф-ч спросил, когда я поеду. — «Вам он опять придет, как в прошлом году, письмо!» Я сказал, что письмо было не от него, а от графини — письма писать, по его словам, он не любит, и не отвечать на письма не считает грехом.

— Он многого вообще не считает грехом, — сказал Н. Ф-ч, — он не думает, что другие этим обижаются. Барсуков, например, библиограф, который написал биографию Строева³⁷, очень обижается, что Л. Н-ч ему не ответил. Он писал к историку Соловьеву³⁸, получил от него ответ, был очень этим доволен, носился с ним, всем показывал, — а тут вдруг ничего!

Я сказал, что Толстой, может быть, потому-то иногда и не отвечает, что из его писем часто делают то, что ему не нравится, — показывают их, хвалятся ими.

— Что бы вам вздумать написать, как писалось его евангелие³⁹, ведь это была бы драгоценность! — сказал мне Н. Ф-ч.

Я выразил сожаление, что вовремя не записывал того, что видел и слышал, а теперь боюсь приняться: не будет той живости, свежести, которая свойственна только тому, что записано сейчас же на месте.

— Удивительно, — продолжал Н. Ф-ч: у него зачастую нет совсем того, что есть в Евангелии, и наоборот — есть то, чего там нет. Отчего, напр<имер>, у него пропущена заповедь о том, чтобы отдавать не только верхнюю, но и исподнюю одежду, — ведь в Евангелии она есть? Я не знаю, зачем он старался выбирать из Евангелия

только то, что подходит под его систему. Соловьев⁴⁰ раз при мне совершенно правильно ему заметил, что выбирать из Евангелия, что ему нравится, незачем — все это он может найти в буддизме.

— Он как-то не признает исторической жизни человечества, — продолжал Н. Ф-ч, — по его мнению выходит так: индивидуум есть только, пока он его видит, а если не видит, если его тут при нем нет, для него он и не существует. По-моему, в этом отношении самое малейшее существо, одаренное только ощущением, полипид, и то выше его по своему кругозору!

Далее почему-то разговор зашел о книге Иова.

— Л. Н-ч говорит, что в ней лучше, чем где-нибудь, поставлен ребром вопрос о том, как могут праведники страдать, а грешники наслаждаться, — сказал я.

— Это неправда, этот вопрос затрагивается не в одной книге Иова! Но и это не хорошо, что он затрагивается. Грешник живет припеваючи, а праведник страдает — такое отношение к грешнику происходит от зависти. Правильней было бы вовсе не затрагивать этого вопроса. Грешники наслаждаются — ну и слава Богу, хорошо, что хоть им-то от этого лучше... Это только и может происходить от зависти!

Он просил меня перевести ему некоторые места из Евангелия Иоанна по-толстовски, не согласился, что Иоанн вообще темен, сказал, что напротив, общий смысл его ясен и необыкновенно высок. — «Толстой смеется над Троицей; она — хоть так и не названа — является впервые у Иоанна и, по-моему, имеет глубокий смысл: «Я в Отце, и Отец во Мне и тии»⁴¹ и т. д. Это — единение всех людей, братство. Здесь догмат уже переходит в заповедь. У Иоанна единение людей всюду, а в приведенных словах и в словах «и будет едино стадо и един Пастырь»⁴² оно выступает с особенной ясностью. Проповедуя рознь людей, Толстой, конечно, не понимает и сущности догмата Троицы и оттого его отвергает.

Толковали мы в Музее и домой пошли вместе. Дорогой я сказал, что в книге Симсона «История Серпухова»⁴³ я нашел кое-какие указания о моих предках — их можно проследить, пожалуй, до Смутного времени. — «Их можно проследить и после эпохи Петра, — сказал Н. Ф-ч, — справьтесь в Писцовых книгах⁴⁴. По-моему, каждый учитель должен быть историком своего уголка. Это даже давало бы ему некоторое преимущество, случись, например, какому-нибудь Соловьеву заехать в захолустье; нельзя же в самом деле Соловьеву знать историю всякого города или местечка. Это, по-моему, великое дело, и с этой точки зрения место где-нибудь в глуши куда важнее места в Москве! Да что! Это, по-моему, религия, священнейшая обязанность каждого быть историком своего места — города, местечка, села или рода. Я иной религии, выше этой, не знаю!

Мы поравнялись со сквером храма Спасителя. Я предложил было ему зайти в храм, но он отказался. — «Не люблю я его, не люблю голых стен, точно в магометанской мечети. Я признаю только византийское искусство, а это для меня — ничего!»

Недели через две мне случилось быть в Музее. Н. Ф-ч показывал литографированную книгу Вильяма Фрея «*Переписка и личные сношения со Л. Н. Т<олстым>*»⁴⁵. Кажется, еще в январе я видел ее у Толстых, мне ее показывал В. Ф. Орлов. Должно быть, она и тогда мало заинтересовала меня. — «Это что-то ребяческое!» — сказал и Н. Ф-ч.

Затем явился Бирюков⁴⁶ с просьбой от Л. Н-ча разыскать книжку о Даниле Ачинском⁴⁷, который в 1812 г. был фельдфебелем, отказался от службы, был сослан на каторгу в Сибирь и после каторги жил на поселении, работая по ночам на других. Книжку эту когда-то читал сам Л. Н-ч, она была с картинкой, изображавшей Данилу.

Н. Ф-ч, как только услышал о фельдфебеле, отказавшемся от службы, усмехнулся и сказал: «Л. Н-чу непременно надо вынудить правительство на крутые меры!» — но стал искать всюду по каталогам, руководствуясь письмом Толстого, из которого — правду сказать, — нельзя было извлечь никаких указаний, в чем сознался и Бирюков.

Из библиотеки я пошел вместе с Бирюковым, потому что нам было по дороге. Он говорил, что едет в Ясную Поляну, а оттуда в Киев — по-малорусски переведена одна вещь Л. Н-ча, так надо туда по делам; спрашивал о «*Яне Гусе*»⁴⁸ — хотелось бы для их издания, сказал, что «*Первый винокур*»⁴⁹ напечатан и продано уже тысяч пятьдесят — написал его Л. Н-ч будто бы в одно утро по предложению какого-то, кажется, балаганщика, который так и не явился за пьесой; она разрешена театральной цензурой и скоро пойдет в Петербурге в каком-то народном театре.

Снабженный письмом к графине и условиями, которые написал Лебедев от ее имени, я 22-го июня был уже в Туле.

В Ясную Поляну я ехал на извозчике. Дорога прелестная — сначала идет по местности холмистой, а потом начинаются леса — самая засека. Светло-зеленые поля, темно-зеленый лес, тишь, от которой я уж отвык в Москве, благоухание... Я не узнал полей — в прошлом году они были сухи и серы, в этом благодаря дождям — свежи и зелены: овсы были чуть не по колено, рожь — по плечо, трава — по пояс.

Выехав из Тулы, я вдруг ощутил знакомую неловкость — в Басове даже велел остановиться в трактире попить чайку; но в 10 часов все-таки приехал в Ясную Поляну.

Подъезжаю к дому — никого нет. Я стал отдавать извозчику деньги — Л. Н-ч появился вдруг, точно из земли вырос.

— Иван Михалыч! Вот хорошо, что приехали. Как я рад!

Видно было, что он и точно рад.

— Пойдемте чай пить, наши еще не встали.

Я прошел в комнату сыновей, повидался сначала с ними. Когда я пришел в залу, Л. Н-ч сидел за самоваром — один.

— А вы несчастные все в Москве, — сказал он, — как поживаете? что ваши, как матушка?

У меня все было благополучно. Я в свою очередь спросил, как все у них, как он.

— Я сейчас кое-что написал — написал то, что нужно, и чувствую себя хорошо. Написать, когда является расположение, это не то, что дай-ка сяду да стану сочинять, — отвечал он мне.

Я сказал, что у меня есть письмо к графине насчет ее рукописей, что Н. Ф-ч будет крайне рад, если графиня и он согласится отдать их на хранение в Музей.

— Я очень рад сделать Н. Ф-чу приятное, а Софья Андреевна тоже согласна...

На этом разговор о рукописях и кончился. Мы заговорили о Даниле Ачинском. Л. Н-ч сказал, что не знает, куда девались у него книги, которые он собирал; между ними было и это житие с грубым изображением самого Данилы.

— Были, знаете, такие жития разных людей, не признанных церковью, и житий таких было много. Я помню, я их собирал... Надо мне спросить в Туле — там есть один, который тоже занимался собиранием их... Н. Ф-ч, — продолжал он, — за что он на меня сердится? Он высокого разбора души человек — но сектант. Что не подходит под его теорию воскрешения, то он знать не хочет. Он — сектант, но человек, каких ужасно мало. <...>

[Далее следует текст о пребывании И. М. Ивакина в Ясной Поляне 22–24 июня 1886 г., опубликованный в «Литературном наследстве» (Т. 69. С. II. С. 83–93). И. М. Ивакин рассказывает об увлечении Толстого крестьянским трудом, его ежедневном пребывании на покосах, где он косил до изнеможения, об участии в сенокосе всех взрослых членов семей Толстых и Кузьминских, о разногласиях между Толстым и членами его семьи по поводу собственности, барского образа жизни, вегетарианства и т. д. Ивакин пишет о тягостном впечатлении, которое произвело на него мрачное, по его мнению, настроение Толстого. Много рассказывается об Исааке Файнермане, в то время фанатичном последователе Толстого, жившем в 1886–1887 гг. в Ясной Поляне и работавшем бесплатно для всех, кто звал его.]

В. Ф. Орлов, приехавший в Ясную Поляну днем позже, рассказывал об устройстве земледельческой интеллигентской колонии

на Кавказе, на земле, принадлежавшей К. М. Сибирякову. Между прочим, Орлов заметил, «...что косить так, как косит Л. Н., значит убивать себя, оттого-то он и стал такой черный, истощенный, это вместо дела значит выдумывать себе дело, чтобы заглушить внутренние страдания, в чем сознается и сам он: “когда работаешь, все забываешь”». В беседах И. М. Ивакина и В. Ф. Орлова усиливаются критические ноты по отношению к образу мысли и жизни писателя: «Я прямо ему сказал, что в Ясной Поляне сами плохо знают, как жить, и напрасно приходят в нее люди с вопросом, как жить». Сойдясь в осуждении тогдашнего настроения Толстого, И. М. Ивакин и В. Ф. Орлов решили уехать из Ясной Поляны как можно быстрее. Последние слова опубликованного текста: «И мы ушли из Ясной Поляны». За этим в рукописи следует:]

Мне было грустно. Точно какой-то червяк сидел внутри меня и глодал. Грустно было, что Л. Н. стал таким, каким я его нашел, — мрачным, менее общительным, более суровым, молчаливо осуждающим. Думалось, что Фей[н]ерман тут немало подействовал, хоть и невольно... Мне грустно было и то, что невольно и я, быть может, огорчил Л. Н-ча, открыто высказал свой взгляд на их косьбу...

Было довольно темно. Я как-то взял влево, и мы дали крюку — пришлось немножко поплутать по пашне и мокрой траве. Вблизи дороги мы остановились и присели на мостике отдохнуть. Я сказал Орлову, что думалось и чувствовалось, сказал, что мне жалко и досадно, что невольно я, может быть, огорчил Л. Н-ча... Он отвечал, что в словах моих сказалась все-таки правда — я не виноват, если они произвели действие неприятное...

— Действовать так нельзя; это значит убивать всякую жизнь, — сказал Орлов, — ведь он стал какой-то черный! И к чему все это? Право, это напоминает мужика в его же повести, который хотел забрать побольше земли и умер от усилий⁵⁰. Он, впрочем, как будто хочет заглушить работой внутренние страдания. Он сам мне говорил: «Какая славная вещь эта мужицкая работа! За ней забываешь все — все свои мысли». Ведь это уж какой-то буддизм, какое-то стремление убить себя, поскорей уйти в нирвану... Он, впрочем, и всегда искал в христианстве буддизма...

Мы пришли в Козловку. Прибыл поезд, мы сели и живо домчались до Тулы... Признаюсь, когда я сел в вагон, с меня свалилась точно какая-то тяжесть, — я чувствовал, что Ясная Поляна осталась позади... Дорогой я спал, как можно спать в вагоне, почти до Москвы. Когда Москва была уже близко, Орлов мне сказал:

— А у меня все не выходят впечатления от Ясной Поляны — давят точно кошмар!

И мы стали припоминать — и Фей[н]ермана, который толковал про орган, данный человеку для исполнения воли Божией⁵¹, и про

Фей[н]ерманшу⁵², и про Черткова, который в читанном Орловым письме ко Л. Н-чу спрашивает, хорошо ли умирал Урусов...⁵³

Сидя на верху конки, мы увидали трех попов, ожидавших, по-видимому, встречного вагона. Попы были толсты, жирны, в шляпах и хороших рясах. Указывая на них, Орлов мне сказал:

— Вот, все враги Л. Н-ча!

Расстались мы на Никольской: он пошел в Славянский базар, узнать, приехал ли Сибиряков⁵⁴, а я на извозчике отправился домой, обещав побывать у него на другой день.

Он жил на Бутырках. Я по уговору на другой день приехал на конке. Подъезжаю к заставе — смотрю, он с детьми вышел мне навстречу.

Мы поздоровались, и первые слова его были:

— Ужасно, ужасно!

Я знал, к чему они относились. Разговор и дома был о Ясной Поляне. Орлов повторял, что так жить нельзя: это не жить, а убивать жизнь, что он даже хочет написать о том самому Л. Н-чу. Я выразил опасение, что это напрасно.

— Правда, — сказал и Орлов, — в нем страшная гордость, страшная самоуверенность... Но его становится жалко!

Заговорив о толстовском учении, я спросил, откуда у Толстого, да и последователей его, является Бог, о котором они говорят нередко, откуда явились соблазны и почему человек им следует, хотя и имеет разумение жизни. Орлов сознался, что и для него тут неясно, что и он ничего не понимает.

— Мне приходилось спрашивать Л. Н-ча, отрицает ли он личного Бога, — продолжал Орлов, — я два раза делал опыт, и два раза он, казалось, как будто не отрицал. Отрицание личного Бога в его сочинениях существует, по-видимому, только для того, чтобы положить ясную границу между его учением и учением попов. Вот почему он как будто и отрицает, а на самом-то [деле] он лично Бога признает.

<...> Когда мы заговорили о произведениях Л. Н-ча, то о повести Толстого *«Кающийся грешник»* я привел слова Н. Ф-ча, который говорил, что, судя по содержанию, ее следовало бы назвать *«Сознающий свое достоинство праведник»* и что во многих его произведениях, например во *«В чем моя вера?»*, он видит защиту крепостного права, а повесть *«Много ли человеку земли надо»* называет не иначе как повестью о трехаршинном наделе. Орлов сказал на это, что во многих барах, даже в самых ярых радикалах, он замечал стремление защищать крепостное право, напр<имер> в Викторе Вас<ильевиче> Еропкине⁵⁵. — «А уж у Толстого-то это прямо выходит из его заповеди *“Не противься злу!..”*»

— По моему мнению, есть люди трех разрядов — сыны дьявола, сыны Божьи и люди, колеблющиеся между теми и другими.

Я о Толстом иногда думаю: уж не сын ли он дьявола? — неожиданно закончил Орлов.

<...>

— У славянофилов остается крайне неопределенным, что же такое православие, — говорил мне Н. Ф-ч, — у нас в России бывает обыкновенно так, что один православный — католик по сущности, другой — протестант. Митрополит Московский Филарет, напр<имер>, был протестант, а митрополит Киевский Филарет был католик...⁵⁶ Православие, по-моему, должно примирить крайности католичества и протестантства. Язычество, по-моему, есть рознь, а еврейство — единство в его крайности: протестантство есть язычество на христианской почве, а католичество — еврейство... У славянофилов все как-то неопределенно, все как-то нужно понимать внутренне, духовно...⁵⁷

— Штраус, — продолжал он, — описывая вход в Ерусалим, — говорит, что, вероятно, в это время у Христа уже была мысль установить культ внутренний, духовный⁵⁸ — мысленный, мнимый, бездельный, — продолжаю я. То же было и у славянофилов, даже у Хомякова в его богословских трактатах⁵⁹. Относительно Троицы, напр<имер>, у него страшная неопределенность, мистичность. Славянофилы не умели прознавать за Троицей нравственного смысла, а между тем этим проникнуто все Евангелие, особенно Иоанна: «Я в Отце и Отец во Мне и тии едино суть» — вот Троица, хотя слова этого в Евангелиях и нет.

Если бы *нравственный* заменить словом *родственный*, было бы понятней. В пятой заповеди: чти отца etc. выражен долг по отношению к отцам. Если этот долг не ограничивать толь[ко] отцами живыми, а распространить и на умерших, тогда его следствия распространяются и по другую сторону. — «Я исхожу из того, что есть, — продолжал он, — могут быть родители без сынов, но нет сынов без отцов... Вот откуда у меня выходит долг, который я не ограничиваю. У меня нет произвола, я исхожу из того, что есть на самом деле...»

В Евангелии Христос не называется человеком, но сыном человеческим, а это большая разница. Нынешнее понятие *человек* крайне неопределенно и противно: может значить все, может и ничего не значить. Но стоит сказать *сын* вместо *человек*, и дело изменяется. Апостол Павел, называя Христа человеком, мудрит, ведь он был философ... Еще мне противно слово гражданин: я предпочел бы *солдат*. Солдат оружие носит наруже, у гражданина оно внутри, а это гораздо хуже...

Вопреки Толстому я придаю важное значение воинской повинности, и значение хорошее. Войско имеет в виду не одну только свою специальную цель, но и другие — борьбу с природой, напр<имер> с саранчой, пожарами. Мне кажется, дальнейшее назначе-

ние войска именно и должно будет сводиться к борьбе не с людьми, а с тем, что людям вредит, и именно через войско-то и можно будет перейти людям к тому делу, которое я ставлю для них как главное. По-моему, и науку как иначе можно определить, как не знание и исследование причины неродственных отношений людей друг к другу и к природе?

— Если дело дойдет до того, что в отношения родственные, семейные закрадутся отношения иного рода, если государство проникнет в семью, что может быть хуже? — продолжал Н. Ф-ч, возвращаясь к прежней теме. — Вот почему в Евангелии и сказано, что конец свету будет тогда, когда дети восстанут на родителей...

В Москве совершен, в сущности, тяжелый грех уничтожением древних стен, разведением на их месте бульваров, гульбищ...

Перейдя затем от уничтоженных стен к Кремлю, он сказал, что главный собор там Архангельский, потому что архангел Михаил был покровителем военных; там же погребались и цари — он охранял и умерших, как охранил тело Моисея от покушений дьявола... По острожкам на пограничьи Руси строились церкви тоже во имя архангела Михаила, и есть много сел, носящих имя *Архангельское*, — это прежние украинные острожки. Таким образом и сама Москва является первым таким острожком с церковью во имя Архангела Михаила и с приделами во имя его в Чудове монастыре, у Спаса на бору... Нечто подобное было и в Риме, но с иным характером: в каждой колонии был свой Капитолий, наподобие римского, — и в храме Юпитер изображался в виде триумфатора. У нас, конечно, было не так, потому что и борьбу-то приходилось вести с кочевниками не из-за славы и добычи. В этом весь смысл русской истории — даже иностранцы, и те соглашались, что наши походы в Среднюю Азию есть нечто такое, что унаследовано нами от прежних времен... Первый оплот был таким образом Кремлевская стена, за ней Китай-город, потом третья стена...⁶⁰ Потом защита перешла к украинным городам... Теперь эти украинные города на Аму-Дарье — все это продолжение одного и того же. Уничтожать, стало быть, старые стены, где было пролито столько крови, — значит забывать отцов, совершать перед ними тяжелый грех!..

— Царственная и Степенная книги⁶¹ были учебниками — для царских детей, конечно, — говорил мне Н. Ф-ч в другой раз, — и история в них изображалась куда лучше, чем в наше время. Они представлены были даже в живописных изображениях — в Грановитой и Золотой палате. О Царственной книге Шлецер⁶² отзывался дурно, но отзыв его несправедлив: он смотрит на нее как на источник для истории XII века, а так смотреть нельзя — для этого

времени она точно что не дает материалу, зато дает для эпохи XVI века, знакомит с взглядами, чувствами, чаяниями людей того времени. Читая эти книги, понимаешь, почему они заставляют византийского императора Константина Мономаха прислать Владимиру Мономаху венец и бармы⁶³. При Константине Мономахе произошло разделение церквей, Рим отпал, а взамен того прибывает Русь — русскому князю и присылаются бармы и венец, хотя исторически это и не верно. Отсюда и Москва недаром называется Третьим Римом и даже говорится, что четвертого не будет... Мысль о Третьем Риме вовсе не так пуста... Фальмерайер⁶⁴, говоря о России, полагает, что если она возьмет Константинополь, всему конец — настанет мрак невежества, торжество грубой силы; тут у него и казаки, и все как следует. Он указывает на Рим — вот где источник света и свободы. По-моему, первый Рим возлагал свои руки на плечи всех, а на второй Рим, т. е. Константинополь, напротив, все возлагали свои руки — он постоянно был в осаде. Вот между ними разница. Каков будет третий Рим?

Dugui⁶⁵ говорит, что для Гомера боги являются чем-то грубым. В самом деле, сравните хоть Агамемнона с Зевсом, Елену с Афродитой — кто лучше? Люди лучше богов. Боги — причина вражды между троянцами и ахейцами; они для Гомера — начало зла; он признает их вечными, стало быть, вечными же считает и зло и вражду, как и теперь есть много людей, которые вражду считают делом неизбежным. Христиане говорили язычникам, что у нас люди лучше ваших богов, и не диво. Но изображая богов худшими, чем люди, он взамен их не дает ничего, на отсутствии положительного, на неопределенности он так и остановился...

Со времени взятия Константинополя турками в Европе начинается новая эпоха. Константинополь пал, это в ней колеблет веру в силу христианства, начинается эпоха язычества, гуманизма. Это не было только увлечением — нет, это было восстановлением язычества. Люди интеллигентные становятся язычниками вполне, масса остается по-прежнему. Лютер своей реформацией этому язычеству придает форму, несколько похожую на христианство, приспособляет его к новой почве. Масса гуманизм понимала, конечно, по-своему, — представляла его в виде Фауста, который продал душу черту. Имей она настоящее, а не мнимое понятие о Лютере, она бы и его трактовала как Фауста... Куда только проникал гуманизм, туда проникала и легенда о Фаусте — у нас она не принялась. Как масса тех веков представила гуманистов, так Гете представил науку XIX века. Его «*Фауст*» можно назвать сатирой, хотя, быть может, и бессознательной. Но изображая неудовлетворенность знанием, Гете не дает ничего положительного — в первой части представлен ученый, неудовлетворенный знанием, но чем он его заменяет? Кабаком и соблазнением девицы. Во второй части

изображается, что делает Фауст затем: он у императора, и индустриализм у него на первом плане⁶⁶. Это характерно. В самом деле, фабрика в наш век — главное. Если бы типично изобразить современный город, то в середине надо было поставить корпус фабрики, по бокам ее — кабак и дом терпимости; впереди — магазины, на задворках — университет, потому что наука у промышленности на службе; тут же — казармы, а кругом будки... Вот общий тип города, потому что у фабрики на службе все. Она производит все гнило, иначе ей стало бы нечего делать; вся нынешняя промышленность — фальсификация. Храма в современном городе, конечно, быть не должно.

— Когда говорят о разных родах литературных произведений, — говорил Н. Ф-ч, все продолжая характеристику современности, — то забывают один современный и самый, по-моему, важный — рекламу. Какой род распространеннее в наше время? Для него употребляются все способы, все средства — и слово, и живопись, и скульптура, стало быть, это сила важная!⁶⁷

Я знал его мысли о протестантстве, о католицизме; о язычестве он только что высказался, новый Рим и старый Рим, по его мнению, различаются только тем, что старый возлагал руки на плечи всех, а на плечи нового все возлагали руки⁶⁸, т. е. результаты исторической жизни того и другого были по существу одинаковы, т. е. существенных результатов не было, — что же должен дать Третий Рим, этот Рим окончательный, потому что после него четвертого не будет?

Беседа наша затянулась, было уже поздно, да и он, когда приходилось выразить свою центральную, управляющую всем мысль, делался застенчив, точно боялся, что засмеются, начинал говорить урывками, не совсем определенно... О задаче, подлежащей Третьему Риму, он и на этот раз выразился коротко и для мало знакомого с его мыслями человека не совсем ясно. Он дал понять, что вся религия, а следовательно, и религия Третьего Рима должна состоять в почитании предков со всеми его последствиями, в долге сынов к отцам, в воскрешении...

— Свежий человек никак не может додуматься, что человек уничтожается, — он и делает умершему, но не уничтожившемуся приношения, как наше простонародье; связь с этим имеет и наше таинство причащения — храм создается на могиле, на прахе умерших (мощи, частицы мощей)... Нужно слишком свихнуться, чтобы привыкнуть к мысли об уничтожении! Ученые говорят, что Христос воскрес в душах своих учеников; в душах воскрес — хорошо, согласен, ну, а пусть мне скажут, почему он умер в душах тюбингенских профессоров?⁶⁹

В декабре — я этого совершенно не ожидал — пришел ко мне раз вечером Л. Н. Толстой.

— Что подделываете? — спросил он меня, — от Орлова я слышал, что вы занимаетесь Эпиктетом, Марком Аврелием...

Я отвечал, что Марком Аврелием действительно занимаюсь, перевел около десяти книг⁷⁰.

— Ну, а язык у вас какой? Надо, чтобы его понимал и мужик.

— Язык бывает только тогда, когда все отделано, а теперь языка нет, — отвечал я и спросил, где теперь Орлов.

— Он в Москве, на Кавказ было поехал, но вернулся... У него тот недостаток, что он уж слишком занят копаньем в себе... Поехал, потом стал думать, зачем ехать, когда можно быть полезным и тут, и вернулся, теперь он здесь... В марте все-таки думает опять уехать.

— А у Василия Ивановича, — продолжал он, — все несчастья — перемерли дети, девочки; очень он этим огорчен. Я недавно писал ему, хочу нынче опять писать...⁷¹ Сибирияков — он до смешного мне верит, или старается верить во все, во что я верю, и далее не идет — как-то слышал от меня, что Василий Иванович — хороший человек, ухватился за него и теперь предлагает ему место учителя у себя в Самаре — один предмет 300 рублей, два предмета 600 рублей и, кроме того, еще 10 десятин земли — условия идеальные!

Я заметил, что мы с Орловым еще летом про это же говорили, но что сам он, Л. Н., был против...

— Неужели? Когда же это, совсем не помню!... <..>

Ко мне он зашел от Николая Федоровича, к которому заносил книгу Билля о Будде⁷², но не застал его дома...

— Любопытно бы знать, где он бывает, — сказал мне Л. Н., — не у девок же! А если не у девок, то где же именно?

Я отвечал, что спрашивать его об этом я никогда не смел, и упомянул о рукописях. Оказалось, что Софья Андреевна в Москву их не привезла.

— Надо это дело сделать, нам надо вместе подействовать на Софью Андреевну. Сережа теперь в Ясной Поляне, надо что-нибудь сделать!

Я просил написать, чтобы привезли. Он обещал.

Вскоре же после этого посещения Л. Н-ч был в Публичн<ой> библиотеке, виделся с Н. Ф-чем, говорил с ним о рукописях...

По этому поводу, когда я пришел в Публичную библиотеку, Н. Ф-ч опять стал упрекать Л. Н-ча, что он стремится выделиться из толпы: это не хорошо; лучше, чтобы все подвинулись хоть на вершок, чем чтобы явились, напр<имер>, два человека высочай-

ших достоинств. — «Он любит ереси, а мы знаем, что ересей было не мало, и возникали-то они из толпы... Побудет, подержится ересь немного, а там, глядишь, и нет ее... Отделять себя от толпы я, по крайней мере, не считаю делом хорошим...»

Как ни тяжело было Н. Ф-чу идти к Толстым, он, однако, пошел... Дело все шло о рукописях... Графиня сказала, что их не привезла по случаю болезни Л. Н-ча: она так ухаживала, что едва могла выбрать время пообедать...⁷³ Приехал потом Лентовский⁷⁴, Л. Н-ч ушел толковать с ним, потом вернулся и вдруг говорит:

— Ну, теперь я вижу, что вы столковались с Софьей Андреевной, порешили все...

— В чем мы столковались и что порешили, не знаю, — сказал Н. Ф-ч, — было неловко, все думалось, как бы поскорее уйти. Сидели с час, а показалось что-то уж очень долго...

<...>

<1887>

В 1887 г., осенью, в воскресенье я ходил раз на Сухаревку и встретил Страхова⁷⁵. Он ездил на южный берег Крыма и по пути туда и обратно два раза заезжал в Ясную Поляну. Л. Н-ч, как он рассказывал, был все нездоров, но косил и писал — написал целую книгу «*О жизни и смерти*»⁷⁶, которая Страхову крайне понравилась. Летом Ясная Поляна была полна народом, но народ был все свой; мало того, в недалеком будущем ожидалось приращение, потому что и графиня, и Татьяна Андреевна были несправданы...⁷⁷ Делать было мне нечего, ему, по-видимому, тоже; я и позвал его с собой в Публичную библиотеку.

Дорогой я узнал, что он занимается религиозными сочинениями — мистиками. Я удивился.

— Вы понимаете «мистический» в слишком неопределенном смысле, — сказал он, добродушно смеясь.

Он упомянул про Гегеля, который в конце одного из своих сочинений сослался на мистика, персидского поэта Джелаледдина Руми⁷⁸, сказал, что все, кто только говорил о Боге, были мистики — у них в этом отношении разработано все ясно, последовательно до мелочей. Библиотека у него большая, хорошая, можно сказать, отборная: есть сочинения по естествознанию (теоретические, а не описательные), математические, философские, а теперь и — религиозные.

Не знаю, было ли в связи с его занятиями некоторое пристрастие к Москве, но оно меня несколько удивило. Едем около театра — несут образа, идут священники. Мы крестимся.

— Это в Петербурге не часто увидишь, — говорит он мне, — я давно уж там живу, а все не могу привыкнуть!

Едем мимо Архива Министерства иностранных дел.

— И чего-чего только нет у вас в Москве! — замечает он.

Как только приехали в Музей и увидали Н. Ф-ча, разговор сейчас же зашел о Толстом, о том, как он понимает смерть.

— По его мнению, смерти будто бы нет, — сказал Н. Ф-ч, — а бессмертия души он, конечно, не признает. Иван Ильич у него умирает и говорит, что смерти нет... Толстой в чудо не верит, а логики не признает, а по-моему, это просто потому, что сам-то он боится смерти — вот себя и утешает, что смерти нет.

— Вы думаете, что он смерти боится? — спросил Страхов.

— Да, судя по тому, что он говорит такую нескладицу, думаю, что боится. Ведь у Л. Н-ча те же воззрения, что и у Эпикура. Эпикур — ему все равно, хоть бы весь мир умер, лишь бы он здоровствовал. Л. Н-ч тоже, да он и всегда стоял за Эпикура... Иван Ильич умирает, а смерти нет!..

Страхов начал толковать, что у Толстого все это чудесно сделано, но Н. Ф-ч продолжал свое — что же по-толстовски, есть смерть или нет?

— Обморок — в эту минуту для человека ничего не существует. Ну а если этот обморок продолжится без конца? Что же в сущности он допускает? — продолжал Н. Ф-ч, задетый в самом чувствительном пункте, в том, что если нет смерти, то нет и главного зла, [об]условливающего и все другие виды, второстепенные, зла: думает ли он, как думал у нас один из митрополитов, что умер человек, то — «по ее места и был»? Но тогда смерть есть. Или согласен он с материалистами, что одно переходит в другое? Что же до бессмертия души, то его он не допускает... Весь интерес-то тут в том, что и смерти, по его мнению, нет, и бессмертия души он не допускает, а то бы до пошлости все было обыкновенно!.. Человек называет себя смертным, а от животных никто еще этого не слышал, — заключил Н. Ф-ч, желая отграничить человека от остального органического мира и сознание человеком своей смертности привести как доказательство, что смерть есть⁷⁹.

— Это состояние, которое разумеет Л. Н-ч, есть то, когда нет ни боли, ни страданий — вот что значит, что смерти нет, — заметил Страхов.

— Т. е. когда ничего нет — нет ощущений. Вот почему я и думаю, что он ужасно боится смерти... Что ни говорит он, все это ужасно противоположно моим воззрениям.

— Он проповедует любовь, разве вы не согласны?

— Что он проповедует, не есть любовь. Он, напр<имер>, раз мне сказал: «Я их в такое положение поставлю, что им или нужно будет отвергнуть Евангелие, или...» — «Так вы вот из чего хлопочете», — сказал я... Да, если у него и есть любовь, то она особого рода. Он является сюда в библиотеку, стоит вон там в углу и гово-

рит мне: «Как бы хорошо все это сжечь!» Пришел на выставку, ходил, гляжу и я — игрушки, думаю, все, ну что ж, пусть! а он говорит: «Динамитцу бы сюда!» Ему бы ложь истребить, а если бы с ней попалась и неложь, то, по его мнению, и это ничего! Холод, холод от его писаний меня поражает!

— А вот Нагорная проповедь, — заметил Страхов, — подобно-го истолкования — я читал в одной английской книге⁸⁰ — нет ни в какой литературе.

— Нагорная-то проповедь и есть у него то место, где ложь дошла до очевидности. «Не вой», а в Евангелии: «не убей» — где тут верность Евангелию? Все заповеди у него выходят отрицательными, а нравственность-то отрицательная требует много. Отрицательные добродетели труднее: из-за ничего делать что-нибудь трудно...

— Он столько наговорил парадоксов, — стал сдаваться Страхов, — он много этим портит.

— Как начинаю читать его, везде бездушие, бесчувственность, — продолжал Н. Ф-ч, все одушевляясь. — Про Пушкина Николай Павлыч раз сказал: я сегодня видел самого умного человека в России. Самого большого художника — пожалуй, но самого умного человека — едва ли. Про Толстого можно сказать то же самое.

— Но и в Евангелии есть тоже отрицательные заповеди...

— То, что он говорит, относится к тому, что Христос отвергает. У него к лицам относится в Нагорной проповеди...

— Средство это литературное — очень сильное....

— Ну, вижу — вы литератор...

— Дайте мне немножко сказать, а то вы так разгорячились... Для пользы дела он...

— После того остается уж лишить себя жизни... Как же? Живу я на чужой счет, ничего не делаю, потому что умственного труда он не признает. Остается лишить себя жизни. Это честно. Впрочем, это и сделал кто-то из Военного Александровского училища — веры православной, а толка толстовского!

Звонок был уже давно, солдаты ждали⁸¹. Мы вышли, сели у церкви⁸², и разговор продолжался. Н. Ф-ч доказывал, что Толстой не понял Нагорной проповеди, Страхов — что он понял верно.

— В сущности Толстой — буддист, — сказал Н. Ф-ч, — что хорошего в бедности, страдании, а это-то Толстой и считает блаженством. Христос говорит: «блаженны... яко наследят землю», дает утешение в будущем... Да наконец говорит: «яко мзда ваша многа на небесех»⁸³... А Толстой ничего этого не допускает, думает, что в страдании-то уж и есть награда. Признаюсь, этого я не понимаю. Как Христос, человек простой, из народа, мог народу говорить в том смысле, в каком понимает Толстой? Кто бы его понял? Не

знаю, что хорошего в бедствии, в болезни... Он отвергает и моление.

— Отвергает общее моление, — заметил Страхов.

— А молитва Господня и начинается-то словами *Отче наш*, а не *Отче мой*...

В сентябре 1887 г. графиня Софья Андреевна приезжала в Москву... В одно из воскресений, когда я пришел в библиотеку, Н. Ф-ч мне сказал, что рукописи Толстого в библиотеке, привезла сама графиня. Но с ними, оказалось, было не без хлопот. В письме к директору (Дашкову) она назвала его *Милостивый Государь*, а не *Ваше Превосходительство*; кроме того, Катков еще при жизни писал, зачем взяли в Петербургскую библиотеку рукопись его Евангелия (хотя писал и вопреки закону, ибо библиотека цензуре не подчинена, в ней все без урезок и вымарок), — так директор-то еще и боится взять, не будет, пожалуй, наград. — «Когда отдаешь что в учреждение, надо все-таки помнить, что с его стороны встретятся непременно затруднения для принятия, ибо каждый начальник до известной степени враг того учреждения, где служит. У нас директор придает значение только тому, что приносит непосредственную, денежную пользу, и больше он ни о чем не думает. “Вот, кабы рукописи Михаила Никифоровича, — мы бы взяли”, — говорит он, и нельзя его очень-то и винить: надо ж ведь и графине знать, с кем имеет дело, к чему ж оскорблять?.. Впрочем, это мои предположения: Дмитрий Петрович (Лебедев) мне ничего не говорит, что-то от меня таит, я не спрашиваю, да и вы не разглашайте, что я вам сказал...»

Таким образом, рукописи все-таки попали в Румянцевский музей, но — увы! — ненадолго: года через три или четыре графиня взяла их почему-то назад⁸⁴.

В декабре того же года я виделся с самим Толстым, встретил его неожиданно на Пречистенке.

— А я сейчас был у Н. Ф-ча, заходил к нему, не застал дома, иду теперь к нему в библиотеку, я с ним не видался уже с марта месяца, — сказал он мне.

Я заметил, что теперь уж четыре часа, библиотека заперта.

— Так мы можем встретить его на дороге: он пойдет где-нибудь тут, переулками, незаметными путями, — ответил на это Л. Н-ч голосом, в котором слышалось какое-то уважение, пожалуй, зависть к этим незаметным путям.

Мы пошли навстречу Н. Ф-чу — смотрим, он и сам идет, сгорбясь, в поношенном, потертом, выцветшем пальто с бобровым воротником, тоже под стать пальто.

— А я заходил к вам, и мы было направились в библиотеку, — начал Л. Н-ч.

— И наверное бы не застали: теперь уж поздно...

Я был рад, что Н. Ф-ч встретился так скоро, потому что, поговорив немного о Шенроке, который был у Толстого недавно по поводу Гоголя, мы оборвали разговор, и я, чувствуя неловкость, придумывал, что бы такое сказать.

— Да, Шенрок занят Гоголем, написал книгу о нем⁸⁵, и очень хорошо...

И должно быть, чувствуя то же, что и я, Л. Н-ч заговорил о том, что Гоголь — забытый писатель.

Я рад видеть Л. Н-ча, люблю его, расположен и он ко мне, но странно — встретишься с ним, перекинешься пятью, шестью фразами и — чувствуешь, что говорить больше нечего, делается как-то неловко. Странно, что бывает это постоянно, что неловкость и недостаток разговорного материала чувствую не только я, но и он...

— Пойдемте назад, мне можно к вам? — спросил он Н. Ф-ча, видя, что тот встретил его как будто без особого удовольствия. — Может быть, вы утомились, вам надо отдохнуть? — говорил несколько упавшим голосом, точно влюбленный, ожидающий ответа.

— Нет, отчего же, ничего...

И мы пошли все назад.

— Ну, теперь вы здоровы? — сказал Н. Ф-ч, — мы слышали, что вы были больны...

— Этого я не признаю; было то, чему быть должно.

— Болезнь быть не должна, — строго ответил Н. Ф-ч.

— А я все хотел зайти к вам в библиотеку, да все некогда. Есть у меня много книг, мне присылают — все хочу отдать вам в библиотеку. Есть один интересный писатель — итальянец (он назвал фамилию), написавший очень хорошую книгу «*Conoscenza e progresso*»⁸⁶, — есть она у вас?

— Надо справиться...

— Вы читаете по-итальянски, Иван М<ихалы>ч? — спросил меня Толстой.

— Стал читать неожиданно...

— Да, — с какой-то радостью подхватил Н. Ф-ч, — взял книгу и стал читать, а прежде не читал...

— Так же, как и я, — сказал Л. Н., — я вам отдам ее... А у вас был мой знакомый Леман⁸⁷, прекрасный молодой человек, начинающий литератор...

— Да, был.

— Он читал мне свои произведения. Я, как сам писатель, могу сказать, что в них есть отрицательные достоинства — чувство меры, отсутствие всего ложного, фальшивого... Он, видно, само-

стоятельный человек, стремится сам собою доработаться до воззрений, не следуя общему течению...

— Ну про него этого нельзя сказать — он слушает, что ему говорят, — заметил Н. Ф-ч.

— Да, как умный человек, он слушает всех, чтобы потом переварить в себе. Он очень серьезно занят воздухоплаванием...

Н. Ф-ч сказал, что все это клонится не к общению, а к разъединению людей, а разъединение-то уж и так велико.

Толстой внезапно впал в тон Н. Ф-ча и заговорил, что вот изобрели порох, и все будто бы думали, что теперь войнам конец, — ан, ничего, все стало по-прежнему. Изобрели динамит, роборит, мелинит, и тоже ничего!

— С тех пор как мы виделись с вами, случилось или ужасно много или не случилось ничего, — сказал Л. Н-ч.

— Что же именно случилось, если случилось много? — спросил я.

— Так, ужасно много, — ответил он неопределенно.

Мы дошли Остоженкой до угла Зачатьевского переулка. Я с ними простился, а они пошли дальше, громко продолжая толковать.

— Ну, что, как вы вчера с Толстым? — спросил я Н. Ф-ча на другой день.

— Да сначала было трудно, а потом разговорились — ничего! Мы долго ходили после вас: он меня провожал, потом я его провожал, потом он опять меня... Домой я так уж и не заходил — мне нужно было в одно место. Толковали — и ничего, размолвки не было: уступчив он был удивительно! Конечно, если б мы походили подольше, то вышли бы и размолвки, — прибавил он с улыбкой.

— А вы вчера встретили его холодно.

— Это правда, встретил его холодно, но расстались хорошо. Он приглашал к себе.

— Вы сходите.

— Да, надо будет...

Показывает мне, спустя немного, Н. Ф-ч книгу Пругавина «Библиогр<афический> список о расколе»⁸⁸.

— Книга почтенная, но — сказал я, — все труды Пругавина порождены мыслию, что и мы, русские, не хуже людей — и у нас есть протест, есть мнения, ереси.

— Да, это правда, — заметил и Н. Ф-ч, — у *них* отделить себя от толпы — что-то похвальное, хорошее. А между тем по большей части бывает, что толпа-то, от которой они себя отделяют, лучше

их самих. У Толстого — то же самое. И я вижу, что он глубоко несчастен и не может не быть, при таком положении, несчастным. Он обещал нам в библиотеку книгу, где доказывается, что болезни нет, но книги этой так нам еще и не принесли... Говорит и он, что болезни нет, а было слышно, что весною сам был у Захарьина⁸⁹.

<1888>

В январе 1888 года Н. Ф-ч встретился с Л. Н-чем опять, который даже заходил к нему и просидел часов до шести. Он занят был тогда Обществом трезвости⁹⁰.

— Но, как и везде, так и тут, — сказал Н. Ф-ч, — он не может не вдаться в крайность. Он хочет, чтобы водка продавалась только из аптеки. Все эти общества трезвости никогда не имели успеха потому, что не принимали во внимание множество связанных с этим обстоятельств. Как человеку не пить? Целую неделю он занят, занят не трудом — нет, а чем-то таким, что утомляет не менее труда. Говорят, что с изобретением машин труд стал легче, а, по моему, так наоборот. Надо ж расправиться после недельной истомы! А у нас к тому же еще и климат... В Западной Европе, кроме обществ трезвости, есть общества воскресного покоя... Он и так-то целую неделю, в сущности, не работал, а только томился, а тут его стараются успокоить! Придет же такая мысль в голову!

— Я говорил, что мы с вами собираемся к нему, а он сказал, что собирается к вам, — продолжал Н. Ф-ч, — уступчив и мягок он стал удивительно!

На другой день, когда я пришел к нему в библиотеку, он спросил, не был ли у меня Толстой. Я сказал, что нет.

— А у Фета не были?⁹¹

— Нет.

— Вы побывайте!

Я пришел в недоумение, но это «побывайте» скоро объяснилось.

Есть у него знакомый, некто Петерсон. В это время служил он в Керенске секретарем, а прежде, когда Толстой занимался школами, был учителем в Ясной Поляне. Была у него больна жена, он вошел в долги и теперь положение его было таково, что за 1000 р. долга хотят продавать его дом. Он писал к Н. Ф-чу, упоминая, по видимому, с надеждой о Толстом⁹². Когда Н. Ф-ч виделся с Толстым, то, не прося ни о чем, рассказал ему о положении Петерсона... Толстой — ничего.

— Ведь надо быть уж очень недалечновидным, чтобы не понять, к чему я говорил, а в недалечновидности его упрекнуть нельзя, — сказал Н. Ф-ч, — я Петерсону так и написал, что Толстой едва ли

может тут что сделать, потому что считает своим только то, что вырабатывает ручным трудом, а остальное все считает как бы себе непринадлежащим...⁹³ Это мысли, конечно, не мои, это — его мысли. Ну, тут не вышло ничего. Побывайте у Фета, не просите, конечно, ничего — это поставит и вас, и его в затруднительное положение, — а расскажите так просто о Петерсоне. Он его, вероятно, знает.

— Выйдет ли какой толк, я сильно сомневаюсь.

— Сомневаюсь и я, даже уверен, что толку не выйдет, но отчего же не рассказать? Дело тут в 1000 р., сам я помочь никак не могу — я не получаю и половины...⁹⁴

Толстой на намек не отозвался никак, у Фета я не был, но дело устроилось очень скоро само собой: близкое к Петерсону лицо⁹⁵ предложило деньги, и тот взял.

— Вышло как будто нарочно точь-в-точь так, как я писал; даже Петерсон удивился! — рассказывал мне после Н. Ф-ч.

Вскоре после того был у меня Василий Иванович Алексеев, учительствовавший со мной у Толстых. От них он уехал в Самару, чтобы «сесть на землю», сделаться мужиком.

В 1883 г., когда я там был, я видел его жительство — мужиком он не сделался, а проводил дни свои скорее ни в чем. Несмотря на то что *сесть на землю* не удалось ему с первых же шагов, он стал все-таки строить себе дом, убив на это все деньги, какие отец, чувствуя, что конец недалеко, дал ему... Когда завел Сибиряков школу в Самаре, Василий Иваныч стал там учителем. Когда он был у меня, вид у него был бодрый — я и не ожидал видеть его таким.

Привез он вести про моих самарских знакомых: башкирец — старик Магомет-шах Романыч, поивший нас кумысом, помер... Девушка-башкирка Шам-шамоги, которая играла нам на кобызе, вышла замуж, и влюбленный в нее Иван-татарин женился, но только не на ней. А с каким усердием ходили мы по Самаре с Иваном-татарином покупать ей на подштанники ситцу, как торговались! Бибиков Алексей Алексеич, управляющий у Толстых, стремится уйти из Самары — имеет в виду место смотрителя в сумасшедшем доме... В прошлом году, как и Толстой мне говорил, мерли у Василия Иваныча дети... Он очень скорбел, написал Л. Н-чу письмо, ища утешения, а тот ему ответ...⁹⁶

— Очень уж этот ответ показался мне обиден, — сказал Василий Иваныч, — тут ищешь какой-нибудь точки опоры, а тебя с философской точки зрения!..

И он прочел самое письмо: В. И., предаваясь скорби, в сущности дает зарости душе своей тернием; предаваться этому исключи-

тельно чувству нельзя и пр. Ответ действительно холодный и умственный, и я понял Василия Ивановича.

Орлов, приехав на место своего служения в Сибиряковскую школу на Кавказе, запил, а ученики его, которых побудил он ехать, будто бы ропщут и жалеют, что поехали...

На другой день я был у Василия Ивановича. Он жил где-то у Екатерининского парка, у знакомых. Квартира как квартира, но как только мы вошли, сейчас же стало видно, что хозяин тут как будто не один. Всюду постели, прислуги нет — точно обитатели вчера въехали, а завтра выедут.

Пошли толки о Толстом. Я откровенно сказал, что и в прежнее время, чему свидетель и Василий Иванович, я не очень верил в правоту толстовских толкований Евангелия, являл, по словам самого Л. Н-ча, только «холодное сочувствие», а теперь и вовсе разуверился — все в учении его как-то неясно, неопределенно, да во многих случаях он и сам не следует, чему учит. Все это заставляет видеть в нем человека только умственного, который быть руководителем в жизни не может. Он и сам, видимо, опутан сомнениями и страдает, в сущности не зная, как ему быть и что делать, а издали производит, конечно бессознательно, такое впечатление, как будто сомнений нет и все для него ясно, и люди, помимо впрочем его воли, поддаваясь этому, идут к нему для решения недоумений и недоразумений. Я привел в пример Фей[н]ермана, упомянул про то, как на одной аристократической свадьбе он был посаженным отцом⁹⁷, о технике, который приезжал спросить, бросить ему училище или нет...⁹⁸

О Фей[н]ермане мне не сказали ничего, посаженством возмутились, а Василий Иванович даже заподозрил самый факт и сказал, что расспросит о том самого Л. Н-ча. Техник же, по его мнению, приезжал напрасно — как можно другому решать вопрос, касающийся только его и больше никого?

— Но сами вы разве не то же сделали, прося дать утешение, когда у вас умерли дети?

Он ответил софизмами самыми пустыми. Его гражданская супруга Лизавета Александровна⁹⁹ тихо мне сказала:

— Василий Иванович тогда говорил, что от Софьи Андреевны он бы это перенес, но от Л. Н-ча этого не ожидал...

Несмотря на это, вера в Толстого у Василия Ивановича была тверда и о православии он выразился в толстовском духе, неодобрительно.

— Дурно ли, хорошо ли православие, — сказал я, — а оно заявило себя тем, что сумело соединить людей в одну громадную общину, называемую Православным Востоком. Сумеет ли сделать что-нибудь подобное новое христианство? Этого не видать, а разъединять оно разъединяет... Мы думаем, что православие — только

ризы да деревянное масло, а вдруг в нем есть нечто другое? А что в нем это есть, припомните-ка Маликова и Орфано¹⁰⁰. Как забрало их за живое, так пошли они небось не к Толстому, а туда, где, по мнению Толстого и по вашему, одна только мерзость и ничего больше. Отчего это? Ведь уж не совсем же они дураки, не совсем слепые, чтобы не видеть, где отверста им дверь спасения. Перед ними была отверста дверь толстовского спасения, а они постояли-постояли, да и прошли мимо...

Василий Иванович возражал неловко, говорил, что тут, т. е. у Толстого, построено все философски, что в православии причащения он не понимает, что Орфано говорит, что надо смирать себя, а он этого не может, что в православии есть сторона поэтическая, а у Толстого философская, которая для людей, как он, составляет самое главное. Он забыл уже, что только что упрекнул Толстого за философскую точку зрения...

— Люди далеко не все, Вас<илий> И<ваны>ч, — живут философией и разумом — живут так очень и очень немногие. Стало быть, и толстовское учение не для всех, а лишь для немногих. А в Евангелии говорится: приидите ко мне *все* труждающиеся¹⁰¹ и пр.

В. Ив. говорил, что у Толстого нет системы — он дает только построение... Мы ни до чего не дотолковались и расстались без сожаления.

Дня через два я пришел в Публичн<ую> библиотеку. Занимался я тогда иностранцами, писавшими о России, и кого-то из них читал. Вдруг слышу знакомый голос, оглядываюсь — Толстой!

Он довольно холодно, как мне показалось, поздоровался со мной. Я подумал, не спрашивал ли его и вправду Василий Иванович о той свадьбе, где он был посаженным отцом. Может быть, так, а может быть, мне только показалось.

О Василии Ивановиче Толстой мне сказал, что он был у него вчера, а сегодня уехал по делам училища в Петербург.

— Орлов поразил меня, Л. Н-ч, — сказал я. — Как же? Поехал на дело, поехал, по-видимому, с таким увлечением, так много мне говорил о будущей своей деятельности, а приехал и — запил!

— Да, слышал и я, но все это из третьих рук...

Он спросил письмо Белинского к Гоголю¹⁰², взял его с собою и сейчас же ушел, но перед уходом сказал Н. Ф-чу:

— Что ж вы ко мне-то? И Иван М-ч тоже? Вот бы вы вместе как-нибудь...

— Уж мы как-нибудь вместе: я буду действовать на Н. Ф-ча, — ответил я.

После его ухода мне что-то жалко стало его.

— Он как будто не в себе — нездоров и расстроен, — сказал я Н. Ф-чу и спросил, когда же мы пойдем к нему.

Н. Ф-ч наотрез отказался.

— Ах, я и забыл — что бы мне попросить у него для нас тринадцатый-то том!¹⁰³ — спохватился он, — ведь он сам должен был бы принести, а вот не догадался! Мы все для него делаем, что можем, а ему как будто все равно...

Разговаривая дорогой о Толстом и Сибирякове, я заметил, сколько теперь народу примазалось, по-видимому, к Сибирякову и его школам... Хорош тоже и Орлов — мечтал ехать, а приехал и запил, хоть Толстой и толкует, что известие это из третьих рук.

— Запить от безделья — это я понимаю, — сказал Н. Ф-ч, — но запить при деле — не знаю... Вот Скобелев¹⁰⁴, напр<имер>, — ему надо было постоянно давать дело, он без дела не мог, а нет дела — он пускался заменить его чем-нибудь. Но Орлов поступил как раз наоборот.

— Сами они, люди, причастные к школе, сознаются, напр<имер>, хоть бы Василий Иванович, что Сибиряков дает все, что только нужно для школы, — заметил я, — мало того, он даже и прислуге-то приказывает исполнять в его доме малейшее желание участников... И один из них, умный, хороший человек, рассказывал Вас. И-ч, потребовал: хочю шампанского с апельсинами! Принесли и шампанского, и апельсинов.

Рассказал и про письмо Толстого к В-ю И-чу по поводу смерти детей, как оно обидело его.

— Что ж, письмо это неудивительно! — отвечал Н. Ф-ч, — он сам мне наперед говорил, что приехал и, увидав детей, обрадовался, и тут же понял, что это грех... Я ему сказал, что это не грех, а едва ли даже не добродетель, и простил и разрешил его от греха, — прибавил он смеясь...

— Надо будет показать Толстому, — говорил Н. Ф-ч, показывая мне изданное вновь житие Данила Ачинского, коим года два тому назад Толстой интересовался, — нет, впрочем, не покажу, а то он вынудит, пожалуй, правительство на крайние меры... Здесь-то кое-что написано не совсем ясно, очевидно перевернуто, а он коли уж напишет, так напишет ясно, определенно, а где надо, там и пропустит, напр<имер> о клятвопреступлении, в котором сознается Данило.

Полемизируя против Толстого, Н. Ф-ч придавал огромную важность внешности, напр<имер> двуперстию и троеперстию.

— В Византии эти споры происходили на философской почве, у нас — на почве обряда, и напрасно думают, что внешность не важна. Перемена, напр<имер>, одежды — да это знаменует це-

люю революцию! Или бритые бороды... На Западе брили бороду, так сказать, молодились, и этим бритьем все сказано — там этим показывали, что думают не столько о благе в будущем, сколько хотят жить настоящим. А были и папы, которые бороды еще не брили. У нас стали брить с Петра... Я уж помню, при Николае борода считалась чем-то недозволительным, революционным... Мне пришлось самому это испытать. Жил я в провинциальном городе, брить приходил, бывало, солдат — да не с бритвой, а с косарем, так ведь мука-то бывала какая! И это каждую неделю. При Александре стали на бороду смотреть снисходительно, хотя носить ее солдатам и не позволялось. Теперь носят все.

— Сам-то царь с бородой?

— Что-то не помню; кажется, с бородой...

<...>

— А я видел недавно Толстого на Арбате, ходил с ним долго, — говорил мне Н. Ф-ч, — говорили сначала-то ничего, а потом, как зашло дело о войне, я — признаться — сказал две глупости да вижу, что дело может принять не очень приятный оборот, поскорей простился и ушел.

— А вы куда сами-то шли?

— Шел-то я в Проточный переулок...¹⁰⁵

— Вот бы и позвали его с собой, он бы пошел.

— Я знаю — он бы пошел, из любопытства бы пошел, но я не сделал этого. Вижу, что мы не сойдемся, а чем дальше, тем все будем больше не соглашаться, я и ушел.

Господин, читавший в стороне, вдруг вступился за Толстого: отрицая войну, он прав, нельзя же пассивно к ней относиться... Н. Ф-ча взорвало.

— Он — пошлый дурак, если утверждает, что войну можно устранить проповедью!..

Господин начал говорить, что и Христос проповедовал:

— Нельзя же в виду вопроса такой важности говорить: валяйте мол! Смешно-с! По-вашему, значит, слово совсем уж бессильно?

— Надо давать отчет в том, что говоришь, — в страшной злобе, со скрежетом сказал Н. Ф-ч, — а то пустельгу-то болтали уж 1000 лет, история уж и счет этому потеряла! Сколько было ересей...

— Что ж, что много?

— А то, что ничего из них не выходило и не выйдет.

— По-вашему, стало быть, надо успокоиться?

— Вам же я по-русски говорю, что нельзя болтать зря, без толку, а он болтает совсем без толку!

— Вы уж слишком сильно!

— Не сильно, а верно. Нужно не это, другое нужно.

— Можно действовать и словом, он это и делает. В его словах много правды!

— Что он делает, это значит перевести всю злобу извне вовнутрь. Знаю я, он желает людям мира — это у него злоба какая-то. Не из любви к людям желает он мира — это уж верно!

Оба замолчали. Господин этот — знаком с Толстым, как после вспомнил Н. Ф-ч. Толстой-то и направил его к Н. Ф-чу; он занят Гоголем...¹⁰⁶ Через несколько времени, когда он стал уходить и простился, Н. Ф-ч его догнал в дверях.

— Мы с вами поговорили тут о Толстом — вы не сердитесь!

— Ах, помилуйте: мало ли что говорится!

— А я опять вчера встретил...

— *Его* встретили?

— Да, *его* на Волхонке. Как вы его не встретили? Впрочем, я-то ушел гораздо позднее вас... Встретил, поздоровались и — расстались. Я уж поскорее ушел, боялся, что он со мной пойдет, но он и сам не пошел...

Встреча эта была в тот же день, когда Н. Ф-ч так горячо, так страстно говорил с господином, занимавшимся Гоголем.

— Как только заговорит он о войне, — продолжал Н. Ф-ч, — так сейчас же сию же минуту становится каким-то другим. Он все думает, что это так просто, стоит только захотеть, и все сделается. Нет, это далеко не так просто! А в одной статье у Кареева¹⁰⁷ я читал, что это проявляется у него еще когда? В «*Войне и мире*» — вот с каких пор! Я заставил себя прочесть всю статью; так и хочется бросить — ну а себе говорю: нет, читай! И дочел. Мне оба они противны — и Толстой, и Кареев, — Кареев тем, что по несколько раз пишет одно и то же — но кое-что о Толстом у него выражено хорошо.

— У Толстого и в «*Войне и мире*» было уж то же, что есть и теперь, продолжал Н. Ф-ч, — он и тогда считал отделенность каким-то счастьем. Раз он по поводу Миклухи-Маклая, спустя уж долго после чтения, недели с две, мне говорил: у каждого дикаря есть своя хижина!¹⁰⁸ Вероятно, это сильно поразило его, если он спустя довольно долгий промежуток вспомнил о том в разговоре со мной — это я только тем и объясняю себе!

— Небрежность у него в романе удивительная; он не давал себе иногда ни малейшего труда подумать, что он пишет. Будь это не Толстой, сам же Кареев засмеял бы, затоптал бы в грязь другого, но о нем говорит сдержанно... Историков он, конечно, не читал...

В марте, кажется, за 1888 год в «*Русском деле*» была помещена статья Толстого, заглавия которой я теперь не упомяну¹⁰⁹.

— Ему (т. е. Толстому) все хочется доказать, что в Евангелии все заповеди отрицательны, — говорил мне с начинающейся злобой Н. Ф-ч, — иные и положительные отрицательны у него потому, что положительные!

— К чему сердиться: ведь это уж у него не ново.

— Разумеется, сердиться не стоит. Но посмотрите вот эти слова — неужто они внушены любовью? Если это любовь, то какая-то жестокая!

И он прочел несколько подчеркнутых строк.

— И ведь все какое пустословие! Надо говорить дело, а он пускается в метафоры о телеге, перевернутой колесами вверх. Пахать — ну, хорошо, я не отказываюсь пахать. Но как это сделать? Где взять земли? А надо ведь это сделать так, чтобы никого не обидеть, ничего не затронуть. Надо, чтоб и наука и искусство остались, надо, чтоб и люди, у которых есть теперь земля, не были обижены. А он и думать про это не хочет!

— Грот недавно говорил, что он даже как будто влияние имел на Толстого в вопросе о свободе воли¹¹⁰. Да, пожалуй, это и правда! — говорил мне вскоре после нашей беседы Н. Ф-ч. — О свободе воли, по-моему, можно с Лафатером¹¹¹ так сказать: все мы свободны, как птица в клетке.

Она главным образом возникла из юридической необходимости, а потом, конечно, и богословской. Как казнить иначе? Как объяснить в мире грех? Ведь тут до чего дошло — Богу, говорят богословы, необходимо удовлетворение, необходимо покарать кого-нибудь, он без этого не может!¹¹² Это чисто юридическое что-то. Мне кажется, главным-то образом оно свойственно католицизму.

— Толстой дошел уж Бог знает до каких нелепостей, — продолжал он, возвращаясь к своему больному пункту, — у него и жизнь-то вся сводится на труд и страдание. Это только и можно ожидать от такого избалованного человека, как он. Что хорошего в страдании?

— Его жена сказала раз мне: «Ну чего ему не достает? Деньги есть, имение есть, слава есть, детей он в начале хотел пять человек — у него их семь; а он все недоволен», — сказал я. — Правду вы говорите, что он избалованный человек.

Я стал приглашать его в Третьяковскую галерею.

— Я не знаю — ну что смотреть Репина «Крестный ход»¹¹³, напр<имер>? Над чем он тут смеется? Ведь смеяться над этим нельзя, жестоко! Это нам смешно: мы едим готовый хлеб, а мужикам — дело другое! Можно ли смеяться, что они не знают другого средства — средства науки...

Мне вспомнились и мужики, серьезно, с благоговением несущие разукрашенный пестрыми ленточками фонарь, и женщины, вперебой в порыве наивной набожности несущие пустой футляр от иконы, и стало обидно, горько.

— А я читаю записки Антокольского¹¹⁴ — очень интересно! — сказал мне Н. Ф-ч.

Я заметил, что мне не нравился его проект памятника Пушкину.

— Памятник писателю — музей вроде Лермонтовского¹¹⁵, это я понимаю, — отвечал он, — а что в статуе!

— Зато у вас в Музее будет со временем Толстовский музей — может быть, вам и портрет-то, рисованный Крамским¹¹⁶, отдадут, — сказал я, неудачно заглядывая в будущее.

— Это правда; рукописи-то его у нас теперь почти все. А ведь лицо у Толстого необыкновенное!

Я согласился — вспомнив его мягкий, упругий, фосфорический взгляд.

<1889>

<...>

Раз я иду из гимназии и встречаю близ театра Корелина¹¹⁷. Он спросил, бываю ли я в Публ<ичной> библиотеке и не могу ли справиться, нет ли там двух нужных ему итальянских книг.

Я обещал. Захожу — Н. Ф-ч, по обыкновению, роется в карточках. Я сказал об итальянских книгах.

— А знаете, кто здесь? — спросил он.

— Кто?

— Толстой. Он сейчас отсюда вышел, скоро вернется.

Он действительно скоро пришел. Увидав меня, видимо обрадовался и сейчас же заговорил.

— А вы знаете — Александр Петрович...¹¹⁸

— Запил?

— Да, получил 40 р. и — запил.

— Откуда он столько взял?

— Он переписывал, Стахович¹¹⁹ ему дал. Теперь он у нас: обобравшись, в чем-то нанковом, очутился в Ржановке. Я собрал три рубля — он теперь у нас. Вот уж именно — чем больше денег, тем больше зла для него. Он наемни мне рассказывал, как вы его отругали, как говорили, что во всем он сам виноват, что дела у него нет, и он был ужасно доволен, ужасно доволен! Я даже удивился: это так непохоже на вас. Пришел такой бодрый. Вот подите, как узнать, чем угодишь на человека...

— Да, это бывает, — сказал и Н. Ф-ч, — иногда люди довольны, если их отругают.

Слушая Толстого, понял суть и смысл разговора переписчика с Толстым про омары¹²⁰.

— Ну, как вы, Л. Н-ч, поживаете? Кажется, хорошо?

— Превосходно: чем ближе к смерти, тем лучше. А вам что тут нужно?

— Встретился Корелин, просил навести справку.

— А, имею о нем понятие...

Н. Ф-ч принес ему книг — что-то на франц<узском> языке о Ломоносове и Державине. Он начал листовать.

— Как скоро доходит дело до того, чтобы изобразить по-французски ч, надо, кажется, перебрать весь алфавит, — сказал он, смотря в книгу, — что вы к нам не завернете?

— Да отстал, а теперь как будто уж и неловко.

— А вы опять приставайте!

— Хорошо, непременно побываю.

Он спросил веревочку, увязал книги. В каталожную стал находить народ — очевидно, поглядеть на Толстого. Вошел Филимонов, Долгов, магистрант Успенский¹²¹. У Толстого глаза как-то потускнели, по лицу мелькнула чуть заметная тень. Филимонов повернулся и притворился, что он это только так, Долгов с Успенским затихли в уголке.

— Так вы, надеюсь, придете.

— Приду, Л. Н-ч, непременно. А я Лелю¹²² вашего видел — какой он большой стал!

— Да, славный малый выходит. А Илья, вы знаете, отец¹²³.

— Знаю, и поздравляю вас. Знаю, что и Сережа в Петербурге...¹²⁴

— Да, к сожалению, в Петербурге. У него тот недостаток (и глаза его стали снова тускнеть), что он существующий порядок признает хорошим, правильным. В Петербурге в этом утвердится больше, чем где-нибудь.

Я был рад, что увидал его — бодрым и свежим. Он ушел, а Н. Ф-ч сказал мне:

— Он говорит, что чем к смерти ближе, тем ему лучше — я и хотел ему сказать: да ведь вы смерти-то не признаете! И у него такие противоречия всегда. Вот еще он говорит: Бог устроит все лучше, чем мы, — а сам Бога-то не должен признавать.

— Добро бы это было фразой, — сказал я, — манерой употреблять имя Божие всеу...

— А то ведь нет, — подхватил Н. Ф-ч, — он это говорит не в виде фразы... У него противоречия постоянно!

— Вот смотрите — записка, — говорил мне Н. Ф-ч, показывая листок бумаги, — приходила женщина, просит помощи...

— Кто она? Какой помощи?

— Вот подпись, а какой помощи — известно.

Смотрю записку — просьба выручить несчастного человека из затруднительного положения. Подпись знакомая: Александр Петрович Иванов.

— Он уж, вероятно, кончил свои 40 рублей, теперь шлет ко мне записку... Да дело-то в том, что если бы еще 21-го числа, ну так... А женщина так прямо и говорит: так когда же?

Я удивился, что Александр Петрович беспокоит Н. Ф-ча. Оказалось, что это уж не в первый раз: бывали и прежде просьбы и даже жалобы, что ему за работу не платят денег.

Я удивился еще больше.

— У меня был такой-то пенсионер, — продолжал Н. Ф-ч, — тот все пребывал в Проточном переулке, когда есть деньги. В трактире он пьет до тех пор, пока не захворает и не отправится в больницу. Выйдет из больницы — опять в трактир, а там опять в больницу. Я наконец ему сказал, чтобы он не писал мне больше записок...

— Он жалуется, будто ему не платят денег, — сказал я, удивленный жалобой. — Толстой, правда, дает ему денег мало...

— Да и как в самом деле дать-то?

— Зато дает одежу, кормит. Я знаю, он дал ему полушубок, сапоги. Теперь, конечно, уж и этого ничего нет...

На другой день вечером ко мне на квартиру является молодой человек — белокурый, в летнем пальто (а стоял мороз градусов в 20), воротник рубашки зашпилен лучинкой, расшаркивается... Подает записку — такую же, какую я видел накануне. Я сказал, что денег не дам, а что если писавшему нужно есть, он может прийти сюда.

— Я просил бы вас это написать, а то они не поверят.

Я написал. Шаркающий молодой человек, с лучинкой в воротничке, ушел.

Несколько времени спустя, отправился я и сам в Проточный переулок.

Малоросс-будочник сходил в кабак, справился, про кого мне нужно, в тамошнем адресном столе. Вышел...

— Сейчас придет, коли дома.

Я начал ждать. Вдруг являются две фигуры — одна маленькая, неопределенная, другая рослая, с подстриженной черной бородой, в летнем пальто, застегнутом до подбородка, без шапки.

— Вы спрашивали А. П-ча?

— Я.

— Он ушел давно уж, с три четверти часа, на Зубовский бульвар. Ведь вы Иван М-ч?

— Да.

— Ну, он к вам и ушел.

Пришлось идти назад. Прихожу домой — А. П-ч сидит, пьет чай, одет в какой-то желтый архалук, в калошах, в тоненьких чулках. Мать накормила его еще до меня.

Он стал показывать какие-то стихи, говорить, что в Проточном переулке он чувствует свободней, чем, напр<имер>, у Толстых, что, Бог даст, он поступит к Курилову (адвокату) и т. д.

— Не надо ли вам денег, — сказал я ему, когда он начал прощаться, — только немного...

— Мне бы только 15 к<опеек>; я задолжал за ночлег...

<...>

[После рассказа И. М. Ивакина о посещении дома Л. Н. Толстого 12 апреля 1889 года (Литературное наследство. Т. 69. Кн. 2. С. 101–104):]

На другой день я пришел в Публичную библиотеку<у> справиться об Анненкове¹²⁵, который занимался Хельчицким¹²⁶, разговорились потом о Толстом — глядь, он и сам тут! Пришел за книгами, где идет речь об американских сектах.

Посмотрел, что читаю. Видит — о Хельчицком.

— А у меня после вас были вчера Стороженко и Янжул¹²⁷. Янжула я уж года два просвещаю о Рескине, американском писателе¹²⁸, — имеете понятие? — и он только теперь выписал его себе. Заговорили мы вчера о Хельчицком...

— Что же, знает о нем Стороженко?

— Нет.

— Как? Да ведь это даже у Пыпина есть¹²⁹ — как же ему-то, профессору-то всеобщей литературы, не знать? Ведь вся и немецкая реформация-то вошла на чешских дрожжах!

— Это правда, — отозвался Н. Ф-ч.

— У них такая казенщина, — отвечал Л. Н., — но я спрашивал о Коменском — о Коменском он знает!

Вчера, после ухода барыни, я говорил Л. Н-чу о Коменском — о том, что он был педагог, имевший всеевропейское значение, на что он мне сказал: «Ну? Ведь он был чех!» О Коменском он сказал, что это был не столько философ, сколько педагог.

— Да и у нас о Коменском есть много, — отозвался Н. Ф-ч, — есть его «Orbis pictus»¹³⁰ — перевод еще прошлого столетия.

Л. Н-ч уселся читать «Encyclopedia Britannica», а потом скоро ушел. Я сказал ему, что вчера забыл захватить книжечки о пьянстве.

— Да, я и сам вспомнил вчера, да вы уже ушли. Я, впрочем, всегда их имею с собой — вот вам, возьмите!

Он вынул из кармана и дал мне две книжки.

<22 апреля 1889>. Через неделю я пришел к Толстым. Оказалось — он одевается идти с двумя сыновьями в баню. Я сказал, что провожу их.

— А я сегодня был у Н. Ф-ча, ходил за сочинениями Сен-Симона¹³¹, — сказал Л. Н.

— Мне он недавно говорил, что дорогой вы как-то беседовали с ним об искусстве, с увлечением, ясно...¹³²

— Да, и я думаю, что ему понравилось...

— Он говорил, что понравилось. Вы, вероятно, уже все вполне себе уяснили и все написали.

— Нет.

— Как же так?

— Не удастся, вот подите! Написать-то ведь надо так, чтобы комар носу не подточил.

<...>

